

**«НА ПОПРИЩЕ УМА НЕЛЬЗЯ  
НАМ ОТСТУПАТЬ».  
КРЕДО ПУШКИНА**

*Владимир Карлович Кантор*

Доктор философских наук, ординарный профессор, заведующий лабораторией, главный научный сотрудник.

Международная лаборатория русско-европейского интеллектуального диалога. Главный редактор журнала «Философические письма.

Русско-европейский диалог».

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Российская Федерация, 105066, Москва, ул. Старая Басманная, 21/4, каб. 215.

E-mail: vlkantor@mail.ru



**Р**ассматривается одна из серьезнейших проблем развития русской интеллектуальной культуры. Россия шагнула в высокую культуру, отставая на несколько столетий от Запада. Задача, поставленная Пушкиным перед Россией — в просвещении стать с веком наравне. Именно он впервые вводит Канта в сознание русского читателя.

По пушкинской логике, Россия уже равна Европе. Судить надо по вершинам духа. Наполеон, называя кремлевские храмы варварски-буддистскими, по сути выражал привычное отношение француза к России. Более того, Запад часто называл и называет русскую культуру внеличностной. Авторы, настаивавшие на «самобытности» России, укрепляли такие представления. Противопоставляя русскую особость европейской духовности, Толстой думал, что тем самым преодолевает Запад, выбирая путь отказа. В трактате «Что такое искусство?» к «рассудочным, выдуманым» он отнес «греческих трагиков, Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира, Гете (почти всего подряд); из новых — Зола, Ибсена, музыку последнего периода Бетховена». Толстой уничижил европейских гениев, но также походя и наотмашь оклеветал Пушкина: памятник ему поставили как будто за то, что он затеял покушение на убийство другого человека и писал неприличные стихи. Слово не было «Полтавы», «Медного всадника», «Капитанской дочки», «Истории Пугачевского бунта», «Евгения Онегина». Вперекор ему — страстная, личностная, декартовская фраза Пушкина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать».

Автор делает вывод, что отступление на поприще ума чревато гибелью государства. Именно Пушкин, как отмечали послереволюционные русские мыслители-изгнанники, вслед за Ломоносовым и Державиным и в бесконечно большей степени, нежели они, продолжал дело европеизации России, дело Петра и Екатерины.

**Ключевые слова:** Россия, Европа, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, просвещение, свобода, государство.

DOI 10.17323/2658-5413-2020-3-3-12-30

Начало высокой русской культуры — это Пушкин и Пушкинская эпоха: лицеисты и поэты и старшие друзья — Карамзин, Жуковский, Вяземский, Чаадаев. Однако года за три-четыре до смерти Пушкина картина меняется. Гениальный Чаадаев, знавший цену поэту, был за 600 верст, в Москве, Пущин — в Сибири, Карамзин умер, умер и Дельвиг. Вяземский с начала 1830-х гг. — очевидный антагонист. Эпоха ранних возвышенных дружб ушла в прошлое. Пушкин последние годы жизни невероятно одинок. Сегодня трудно осознать, что создатель русского слова был в конце своего земного пути практически в духовной изоляции. Но сам он уже в 1830 г. ее чувствовал:

Ты царь: живи один. Дорогою свободной  
Иди, куда влечет тебя свободный ум,  
Усовершенствуя плоды любимых дум,  
Не требуя наград за подвиг благородный.  
(«Поэту»)

Это о себе. И с каждым годом он все больше и больше расходился с бывшими друзьями. Его великая ода «Клеветникам России» (1831), в которой Чаадаев увидел заявку на дантовский уровень (ибо Данте абсолютно политизирован), была воспринята даже друзьями как приспособленчество, сервильность. А заметим, что Данте был постоянным собеседником Пушкина: «Зорю бьют, из рук моих ветхий Данте выпадает...». И «Сонет» (1830) он начинает с имени Данте: «Суровый Дант не презирал сонета».

В рукописи ода «Клеветникам России» сопровождалась эпиграфом: «*Vox et praeterea nihil*» — «Пустой звук [букв. голос] и более ничего». Ироническая отсылка к другому латинскому афоризму: *vox populi vox Dei*, «глас народа — глас Божий». Пушкин резок. Он определяет глас «народных витий» как пустой звук. Теперь понятнее первые строчки его оды:

О чем шумите вы, народные витии?  
Зачем анафемой грозите вы России?

Друг поэтической юности Пушкина Петр Вяземский с возрастом стихи почти перестал писать, зато изливал свое понимание мира в «Записной книжке», любимом тексте нынешних литературоведов. Вот его реакция на опубликованный пушкинский шедевр: «Пушкин знает, что они не прочтут стихов его, следовательно, и отвечать не будут на вопросы, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем на ней. Народные витии, если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи подобные вашим» (Вяземский, 1963: 214). Он называет «нелепостями» «угрозы» Европе. Мол, сам Пушкин должен бы знать: «нам с Европою воевать была бы смерть» (Там же). Хотя в 1812–1813 гг. смерть пришла наполеоновской Европе, о чем Пушкин и написал с насмешкой витиям, ненавидящим Россию, напомнив, что

...в бездну повалили  
Мы тяготеющий над царствами кумир  
И нашей кровью испутили  
Европы вольность, честь и мир...

Трезвый и разумный Пушкин отказывался видеть Европу возрождающейся, ибо Франция этих лет, скажем, в изображении Бальзака могла вызывать только презрение. Ее властитель — Луи-Филипп, король-буржуа. Он, конечно, не Наполеон. В новой ситуации русский европеец Пушкин должен был вырабатывать свое кредо, он его выработал, но кто осознал это? Погиб он в 1837 г., убит французом, которого поддержала русская светская чернь, стихи его правились императором, и лучшие из них, пролежав 20 лет в сундуках у Натальи Николаевны Ланской, были опубликованы П. В. Анненковым только в 1857 г.

Читающая Россия обомлела. Но все же не осознала. До Октябрьской революции, пожалуй, один Д. С. Мережковский заметил самое важное: «В сущности, Пушкин есть донныне единственный ответ, достойный великого вопроса об участи русского народа в мировой культуре, который задан был Петром. Пушкин отвечает Петру, как слово отвечает действию. Возвращаясь к первобытной, христианской и народной стихии, особенно в своих крайних и односторонних про-

явлениях — в презрении к науке у Льва Толстого, в презрении к “гнилому Западу” у Достоевского, вся последующая русская литература есть как бы измена тому началу мировой культуры, которое было завещано России двумя одинокими и непонятыми русскими героями — Петром и Пушкиным» (Мережковский, 2007: 277).

В каждой культуре, более или менее развитой, существуют два типа людей: человек свободы (предельный вариант — Христос) и человек толпы, массы, у которой всегда есть лидер, фюрер, вождь. Вожди организуют массу, которая ненавидит людей свободы, направлена на их уничтожение. Надо только понять, что человек свободы — не революционер, поскольку революция, бунт означает торжество массы. Путь человека свободы — путь на Голгофу, под пистолет Дантеса, на сибирскую каторгу, в Освенцим, ГУЛАГ. Уже при первом явлении человека свободы именно народ отдал Его на распятие, крича Пилату: «Распни, распни Его!» (Ин. 19: 6).

Пушкин это очень хорошо понимал, его проза и стихи — о том, как народ не принимает человека духа и независимости. Вот о Барклае-де-Толли:

<...> Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,  
Высоко лоснится, и, мнится, залегла  
Там грусть великая. Кругом — густая мгла;  
За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,  
Он, кажется, глядит с презрительною думой.  
Свою ли точно мысль художник обнажил,  
Когда он таковым его изобразил,  
Или невольное то было вдохновенье, —  
Но Доу дал ему такое выраженье.

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:  
Все в жертву ты принес земле тебе чужой.  
Непроницаемый для взгляда черни дикой,  
В молчанье шел один ты с мыслию великой,  
И, в имени твоём звук чуждый невлюбя,  
Своими криками преследуя тебя,  
Народ, таинственно спасаемый тобою,  
Ругался над твоей священной сединою.

(«Полководец», 1835)

Народ *спасает*, но своего спасителя он прокликает. В Баркляя толпа кидала камни, вслед его карете плевали, называя трусом и предателем. Пушкин вполне осознавал ужас народной молвы, ее неумение мыслить и архетипическую неблагодарность. При этом солдаты, глядя на Баркляя, в полной форме стоявшего под пулями, говорили: видишь его — и страх не берет. Единственный полководец,





Джордж Доу.  
 Портрет  
 Михаила Богдановича Барклая-де-Толли.  
 1829. Холст, масло. Военная галерея  
 Зимнего дворца

дважды разбивший Наполеона. И спасший армию, а стало быть, и Россию.

Если Толстой в эпопее повторяет народную молву, будто иностранец Барклай не может спасти Россию, и изображает Наполеона мелким и ничтожным человеком, то Пушкин, назвав его «тяготеющим над царствами кумиром», тем не менее понимает его величие. Наполеона Пушкин видит не как Толстой: для него он, как и для Гете, «великий человек», «могучий баловень побед», над его прахом «луч бессмертия горит». И немало важно, что французский император заставил российскую державу увидеть собственную мощь, а Европе против своей воли показал крепость России как *европейской* же страны:

Да будет омрачен позором  
 Тот малодушный, кто в сей день  
 Безумным возмутит укором  
 Его развенчанную тень!  
 Хвала! он русскому народу  
 Высокий жребий указал  
 И миру вечную свободу  
 Из мрака ссылки завещал.  
 («Наполеон», 1821)

По Пушкину, наполеоновское нашествие способствовало державному становлению России. Точно так же происходило в эпоху Петровских войн со Швецией. Есть русский народ-крестьянство, есть русский народ-нация: в этом втором качестве и только так он может осознать свой «высокий жребий». По сути, уничтожив европейского «самовластного злодея», Россия билась с Европой в защиту Европы же. Современники Пушкина чувствовали себя такими же европейцами, как и французы. Они сражались за Родину, но не против французской и вообще европейской культуры.

Пушкин в оде «Клеветникам...» говорил о «вопросе», который не может решить Европа, — об отношениях России и Польши. Спустя тридцать лет философствующий публицист и критик Николай Страхов вернулся к пушкинской

теме со статьей, которую назвал «Роковой вопрос» (1863). Он увидел проблему в том, что Польша — страна европейская, а Россия остается варварской:

«...поляки могут смотреть на себя как на народ вполне европейский, могут причислять себя к “стране святых чудес”, к этому великому Западу, составляющему вершину человечества и содержащему в себе центральный ток человеческой истории.

А мы? Что такое мы, русские? Не будем обманывать себя; постараемся понять, каким взглядом должны смотреть на нас поляки и даже вообще европейцы. Они до сих пор не причисляют нас к своей заповедной семье, несмотря на наши усилия примкнуть к ней. Наша история совершалась отдельно; мы не разделяли с Европою ни ее судеб, ни ее развития. Наша нынешняя цивилизация, наша наука, литература и пр. — все это едва имеет историю, все это недавно и бледно, как запоздалое и усиленное подражание. Мы не можем похвалиться нашим развитием и не смеем ставить себя наряду с другими, более счастливыми племенами» (Страхов, 2010: 38–39).

Формула неприемлемая для Пушкина. 23-летний поэт писал: «На поприще ума нельзя нам отступить...» («Послание цензору», 1822). Отступление — термин военный, заставляющий вспомнить о баталиях Петра Великого, который привел Россию в Европу. Пушкин ставил себе и России задачу — **«в просвещении стать с веком наравне»** («Чаадаеву», 1821).

Мераб Мамардашвили как-то на лекции говорил слушателям, что надо знать, кто твой сосед по жизни. И сам, живший в московской коммуналке, отмечал, что соседа каждый может выбрать по своему усмотрению. Можно таковым считать алкоголика, живущего за стеной, а можно Канта, Картезия, Кафку. Именно с ними жить. Пушкин выбрал себе ментальных соседей.

Достаточно оценить интеллектуальный уровень близких друзей его молодости. Помимо названных это Евгений Боратынский, Николай Гоголь, Александр Горчаков, Александр Грибоедов, Денис Давыдов, Константин Данзас, Иван Киреевский, Вильгельм Кюхельбекер, Адам Мицкевич, Павел Пестель, Иван Пущин, Кондратий Рылеев, Алексей Хомяков. Не кто иной, как Сергей Соболевский рассказал Мериме, что Пушкин принял его «Гузлу» за подлинные песни, перевел их с французского и создал на русском языке славянский шедевр. А Мериме потом винулся перед Пушкиным за невольный обман. Стоит напомнить, что великий Гете прислал русскому поэту свое гусиное перо. И Пушкин помнил: «Старик Державин нас заметил // И в гроб сходя, благословил» («Евгений Онегин»).

Так что самоощущение Пушкина не случайно:

Великим быть желаю,  
Люблю России честь...  
(Dubia, 1817–1822)

Сам он в просвещении вполне стоял наравне с веком. Наверное, недаром Ленский был юнцом «с душою прямо геттингенской», а Татьяна написала свое знаменитое письмо, подражая Элоизе из романа Руссо. Все эти писатели жили в пушкинской действенной памяти. Имена Канта и Декарта всплывают в его строчках как само собой разумеющееся (это его соседи): «Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в “Московском телеграфе”. Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос» (Пушкин, 1960: 435). Ленский, деревенский друг Евгения Онегина, — «поклонник Канта и поэт».

Ну, скажут, Декарт — это понятно. Лицейское прозвище «француз» неслучайно. Всем офрануженным дворянством читался Вольтер. Где Вольтер, там и Декарт. А Кант откуда? Не забудем, что нравственные и политические науки в лицее преподавал профессор Александр Петрович Куницын, обожаемый лицеистами. Сын дьячка, учившийся несколько лет в Геттингенском и Гейдельбергском университетах. В черновиках стихотворения «19 октября» (1825) Пушкин так выразил общую любовь к профессору:

Куницыну дань сердца и вина!  
Он создал нас, он воспитал наш пламень,  
Поставлен им краеугольный камень,  
Им чистая лампада возжена...

Сочинения Куницына находились под сильным влиянием Руссо и Канта — напомним, что он прошел семинарское обучение, где немецкого классика изучали. Но и лицеисты читали Канта, что ясно из шуточного стихотворения Пушкина:

Шипи, шампанское, в стекле.  
Друзья, почто же с Кантом  
Сенека, Тацит на столе,  
Фольянт над фолиантом?  
(«К студентам», 1814)



А. П. Куницын.  
Лицейская карикатура  
Алексея Илличевского. 1816



Свидѣтельство.

Воспитанникъ Императорскаго Царскосельскаго Лицея Александръ Пушкинъ, въ теченіи Местимѣстнаго курса обучался въ сѣмъ Заведеніи и оказалъ успѣхи: въ Законѣ Божіемъ и Священной Исторіи, въ Логикѣ и Чрезвычайной Философіи, въ Правѣ Естественномъ, Гражданскомъ и Рубинскомъ, въ Россійскомъ Гражданскомъ и Уголовномъ Правѣ хорошии, въ Латинской Словесности, въ Государственной Экономіи и Франккаса въ весьма хорошии, въ Россійской и Французской Словесности также въ французскомъ превосходнии, сверхъ того занимался Исторіею, Географіею, Статистикою, Математикою и Нѣмецкимъ языкомъ. Во удостовѣреніе сего и дано ему отъ Конференціи Императорскаго Царскосельскаго Лицея сие свидѣтельство съ приложеніемъ печати. Царское село Юля 9. Мая 1817 года.

№ 21

Директоръ Лицея Свѣтъ Павелъ Сергѣевичъ

У сего свидѣтельства  
Императорскаго  
Царскосельскаго Лицея  
печать. № 63.



Конференція Свѣтъ Павелъ Сергѣевичъ  
Александръ Пушкинъ

Свидетельство об окончании Пушкиным Лицея  
(подпись А. П. Куницына)



В 1840-е гг. Канта русские любомудры практически не знали: при Николае I его философию запретили в университетах, а самостоятельно понять его трудно. Сошлюсь на Г. В. Флоровского:

«Когда Станкевич начинал изучать Канта, он мечтал о семинаристе...

“Какое мучительное положение! Читаешь, перечитываешь, ломаешь голову, — нет нейдет! Бросишь, идешь гулять, голове тяжело, мучит и оскорбленное самолюбие, видишь, что все твои мечты, все жаркие обеты должны погибнуть...

Я начал искать какого-нибудь профессора семинарии, какого-нибудь священника, который бы помог, объяснил мне непонятное в Канте. Тем более, что это непонятно не по глубине своей, а просто от незнания некоторых психологических фактов, давно признанных и знакомых, может быть, всякому порядочному семинаристу, — а мы, люди, воспламененные идеями, путаемся и падаем на каждом шагу от того, что не мучились в школах” (письмо к М. Бакунину от 7-го ноября 1835-го года)...

Так именно в церковной школе начинается русское любомудрие; и русское богословское сознание проводится через умозрительный искус, пробуждается от наивного сна...» (Флоровский, 2009: 309).



Николай Николаевич  
Страхов.  
Фотография 1850-х гг.

По пушкинской логике, Россия уже равна Европе. Судить надо по вершинам. Наполеон, называя кремлевские храмы варварски-буддистскими, по сути выражал привычное отношение француза к России. Да и сейчас все, что располагается восточнее Рейна, включая Германию, имеет наименование «orientale». Более того, Запад часто называл и называет русскую культуру внеличностной. Увы, авторы, настаивающие на «самобытности» России, волей-неволей укрепляли такие представления. Но вперекор им — страстная, личностная, декартовская фраза Пушкина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» («Элегия», 1830). Такому не умилишься — он равноправен, он чувствует и думает как Шекспир, Данте, Гете!

Вернемся к Страхову. Европейской образованности он противопоставлял коренное здоровье простого русского народа: «Существенно <...> то, что мы должны положиться именно на народ и на его самобытные, своеобразные начала.

В европейской цивилизации, в цивилизации заемной и внешней, мы уступаем полякам; но мы желали бы верить, что в цивилизации народной, коренной, здоровой мы превосходим их или, по крайней мере, можем иметь притязание не уступать ни им, ни всякому другому народу» (Страхов, 2010: 47). Смысл пассажа прост. В России народ общинный, ему заемная образованность индивидуалистического Запада не нужна.

Комплексов Страхова не было у Пушкина.

Пушкин тверд, даже жесток:

Поэт! не дорожи любовью народной.  
Восторженных похвал пройдет минутный шум;  
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,  
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

(«Поэту»)

Это сказано, напомним, в 1830 г. Стоит посмотреть его пугачевщину, полистать стихотворные строчки, и мы увидим, что народ чем дальше, тем чаще поминается с негативной коннотацией. «Молчи, бессмысленный народ» («Поэт и толпа», 1928). Или в «Медном всаднике»: «В порядок прежний все вошло. // Уже по улицам свободным // **С своим бесчувствием холодным // Ходил народ**» (1833). И кредо в «Из Пиндемонти»: «Зависеть от царя, // Зависеть от народа — // Не все ли нам равно?» (1836).

Его поэзия — естественный выход на духовный уровень, достойный великой страны. Противопоставляя русскую особость европейской духовности, Толстой думал, что тем самым преодолевает Запад. Пушкин же шел европейским путем, понимая, что это единственная возможность для осуществления России. Поэтому и Пушкина, который вел диалог с Европой, уверенно стоя на европейском духовном поле («Маленькие трагедии»), Толстой не принимал, глядя на него с точки зрения деревенского мужика как носителя высшей истины. Любивший прозу Толстого Чехов, истинный наследник Пушкина, категорически отказался от толстовских философии и морали. 27 марта 1894 г. он писал Суворину:

«<...> толстовская мораль перестала меня трогать, в глубине души я отношусь к ней недружелюбно <...> Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями. Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная. Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках. Но

толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч. Но дело не в этом, не в “за и против”, а в том, что так или иначе, а для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се оставляю дом ваш пуст» (Чехов, 1977: 283–284).

Говоря о Гете, Х. Ортега-и-Гассет называл его патрицием, живущим на доходы от прошлого: «Его творчество сродни простому распоряжению унаследованными богатствами» (Ортега-и-Гассет, 1991: 436). Надо сказать, продолжая мысль Ортеги, что в России Пушкин был таким же патрицием, наследником всех культурных ценностей мира. Еще совсем молодым он написал:

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!  
В уединенье величавом  
Слышнее ваш отрадный глас.  
Он гонит лени сон угрюмый,  
К трудам рождает жар во мне,  
И ваши творческие думы  
В душевной зреют глубине.  
(«Деревня», 1819)

Не только в Россию можно и нужно верить: она сама должна верить в себя. В. В. Розанов, утверждая, что мы, русские, гибнем *от неуважения себя*, продолжал пушкинскую мысль.

#### **Сопоставим два высказывания — Жуковского и Пушкина:**

**Пушкин, 1823 г.:** «Только революционная голова, подобная Мирабо и Петру, может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке» (Пушкин, 1962в: 346).

**Жуковский, 26 декабря 1826 г.** (из письма к Вяземскому): «Нет ничего выше, как быть писателем в настоящем смысле. Особенно для России. У нас писатель с гением сделал бы более Петра Великого. Вот для чего я желал бы обратиться на минуту в вдохновенного гения для Пушкина, чтобы сказать ему: “Твой век принадлежит тебе! Ты можешь сделать более всех твоих предшественников! Пойми свою высоту и будь достоин своего назначения! Заслужи свой гений благородством и чистою нравственностью! Не смешивай буйства с свободой, необузданности с силою! Уважай святое и употреби свой гений, чтобы быть его



распространителем. Сие уважение к святыне нигде так не нужно, как в России» (Жуковский, 1983: 368).

То есть любить тупо, патриотически, казенно — можно только без мысли, без головы. Умный человек, видя грязь и грубость, может Россию только отрицать, только ненавидеть, по В. С. Печерину — *сладостно*, а любить ее умный человек может, лишь будучи творцом, а творцом он может быть, если любит Россию — как писатель, как творец, ибо желает не уничтожить, а сотворить ее. Поэт творит, давая на родном языке имена российским явлениям, создавая *энциклопедию русской жизни*.

Пушкин любил не народ. Он любил Россию как особый могучий организм, который — увы! — можно погубить. И дворянство как носителя российской чести. Когда придет благое просвещение, тогда все оценят культуру, искусство, и его, Пушкина. «И долго буду тем любезен я народу...» Видимо, по слову В. В. Вейдле, когда народ станет нацией.

Толстой выбирает путь отказа. В трактате «Что такое искусство?» к «рассудочным, выдуманым» он отнес «греческих трагиков, Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира, Гете (почти всего подряд); из новых — Зола, Ибсена, музыку последнего периода Бетховена, Вагнера <...> в живописи — всего Рафаэля, всего Микеланджело с его нелепым “Страшным судом” <...>» (Толстой, 1983: 141). С точки зрения так называемого человека из народа он отверг и Пушкина: «<...> надо только представить себе положение <...> человека из народа, когда он <...> узнает, что в России духовенство, начальство, все лучшие люди России с торжеством открывают памятник великому человеку, благодетелю, славе России — Пушкину, про которого он до сих пор ничего не слышал.<...> каково же должно быть его недоумение, когда он узнает, что Пушкин был человек больше чем легких нравов, что умер он на дуэли, т. е. при покушении на убийство другого человека, что вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные» (Там же: 187).

Толстой ничтоже сумняшеся уничтожил европейских гениев; но также походя и наотмашь оклеветал и Пушкина, явно применив подтасовку: памятник ему поставили как будто за то, что он затеял покушение на убийство другого человека и писал неприличные стихи. Словно не было «Полтавы», «Медного всадника», «Капитанской дочери», «Истории Пугачевского бунта», словно не было сказано Аполлоном Григорьевым, что *Пушкин — наше всё*.

Бердяев категорически не принял толстовский нигилизм:

«Возвышенность толстовской морали есть великий обман, который должен быть изобличен. Толстой мешал народжению и развитию в России нравственно ответственной личности, мешал подбору личных качеств, и потому он был злым гением России, соблазнителем ее. В нем совершилась роковая встреча русского морализма



И. Е. Репин. Л. Н. Толстой босой.  
1901. Холст, масло.  
Государственный  
Русский музей, С.-Петербург

с русским нигилизмом и дано было религиозно-нравственное оправдание русского нигилизма, которое соблазнило многих. В нем русское народничество, столь роковое для судьбы России, получило религиозное выражение и нравственное оправдание» (Бердяев, 1993: 99).

Впрочем, даже те, кого мы считаем народолюбцами, не принимали толстовскую позицию. К примеру, Н. Г. Чернышевский, которого по старинке называют «народным демократом», не мог принять толстовское отрицание высокой культуры. Выросший на Августине и Канте, автор книги о Лессинге, он писал: «Забудемте же, кто светский человек, кто купец или мещанин, кто мужик, будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по человеческой психологии, не дозволяя себе утаивать перед самими собою истину ради мужицкого звания» (Чернышевский, 1950: 862).

В «Истории Петра I» Пушкин замечает: «Народ почитал Петра антихристом» (Пушкин, 1962а: 12), потому что он отправлял русских юношей на учебу в Европу. Для Пушкина, видевшего в Петре создателя России, это дикость, ведь народ — это Пугачев и его воры, это холерные бунты, когда лечивших врачей и офицеров («благородных») закапывали живьем в землю и топили в колодцах. Правда, это и няня, но и кузнец Архип из «Дубровского». Народ охотно идет на бунт и более жесток, чем Дубровский, — так сжигают приказных, которых барин хотел отпустить. Пугачев приказал повесить астронома

Ловица — «поближе к звездам». Так что это аргумент в пользу Петра, ибо народ не хочет образования.

Русская власть Пушкина знала, но в чести он не был. Ссылка — начало гражданской его судьбы. Погружение в историю мировой культуры — продолжение. Недаром он сравнивал себя с Овидием («К Овидию», 1821: «Не славой — участью я равен был тебе»), а Петербург с Римом. Эпиграф к одной из глав «Онегина» —

игра со словом Горация: «O Rus! O Русь!» (букв. «O деревня! O Русь!»). Ода «Клеветникам России» — против отрицавших европейский смысл России.

Пушкин был подлинный русский европеец, а потому мог оценить и воссоздать неевропейскую Россию более точно, чем любой националист. Разбойника Роб Роя мог написать только сэр Вальтер Скотт, а не его соратники-разбойники. Так и Пугачева мог написать европеец и дворянин Пушкин, а не Хлопуша. Он творил, писал, усвоив европейский интеллектуализм и свободу в отношении к жизни. Мыслил, а потому и существовал. Мыслить — значит жить для Пушкина.

Довольно рано он понял, что нужно искать свой путь, не следуя либеральным идеям, будто народ можно поднять на благие дела: под этим знаком строилось движение декабристов. Пушкин увидел иное. В своем понимании мира он все чаще обращался к христианскому и трагическому пониманию. В 1823 г. (1 декабря) изложил новое миропонимание в письме А. И. Тургеневу из Одессы: «<...> написал на днях подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа (Изыде сеятель сеяти семена своя)» (Пушкин, 1962б: 84).

Это стихотворение стоит напомнить:

Свободы сеятель пустынный,  
Я вышел рано, до звезды;  
Рукою чистой и безвинной  
В порабощенные бразды  
Бросал живительное семя —  
Но потерял я только время,  
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!  
Вас не разбудит чести клич.  
К чему стадам дары свободы?  
Их должно резать или стричь.  
Наследство их из рода в роды  
Ярмо с гремушками да бич.

Здесь все стоит осмысления. Во-первых, «басня» — это цитата из Евангелия от Матфея, во-вторых, неожиданное определение Христа: **умеренный демократ**. Христа не раз пытались определить как революционера. Но народ-то отдал Его на распятие, поскольку революционер виделся в Варавве. Здесь народ вызывает только презрение. А в «Капитанской дочке» и в «Медном всаднике» (потоп как шайка разбойников) — ужас. В гениальном пореволюционном трактате «На пиру богов» С. Н. Булгаков почти с ужасом констатировал:



«Слой церковной культуры оказался настолько тонким, как это не вообразалось даже и врагам церкви. Русский народ вдруг оказался нехристианским» (Булгаков, 1993: 609).

До Достоевского Пушкин определил Христа как норму жизни «с разумом в очах» («Мадонна», 1830). Он мечтал о Мадонне:

В простом углу моем, средь медленных трудов,  
Одной картины я желал быть вечно зритель,  
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,  
Пречистая и наш божественный спаситель...

Лев Толстой ненавидел рафаэлевскую Мадонну. Сергей Булгаков вспоминал восприятие этой картины Толстым: «Пример <...> изощренной грубости относительно Мадонны я имел <...> в беседе с Л. Толстым, в последнюю нашу встречу в Гаспре 1902 г., когда он оправлялся после опасной болезни. Я имел неосторожность в разговоре выразить свои чувства к Сикстине, и одного этого упоминания было достаточно, чтобы вызвать приступ задыхающейся, богохульной злобы, граничащей с одержанием. Глаза его загорелись недобрый огнем, и он начал, задыхаясь, богохульствовать. “Да, привели меня туда, посадили на эту Folterbank, я тер ее, тер ж..., ничего не высидел. Ну что же: девка родила малого, девка родила малого, только всего, что же особенного?” И он искал еще новых кощунственных слов, — тяжело было присутствовать при этих судорогах духа» (Булгаков, 1996: 393). Добавить к этим словам нечего.

Отказываясь от высокого искусства, от государства, от христианства, Толстой, по сути, пролетаризировал русскую культуру. Неслучайно его так любил Ленин, используя в своих целях. Ему было на руку отлучение Толстого от церкви, ибо это оправдывало уничтожение священства<sup>1</sup>. «До этого графа подлинного мужика в литературе не было», — говорил он Горькому (Горький, 1952: 39). Именно мужик и сдал государство, пойдя за большевиками. Отступление на поприще ума чревато гибелью государства. А про Пушкина русские мыслители-изгнанники писали так: «Только те, для которых мир духовных ценностей, творимых гениями религии, искусства, философии, есть мир менее “реальный”, нежели мир плотских осязаемых вещей, могут не оценить всей огромности заслуги Пушкина в деле создания русской национальной государственности. Вслед за Ломоносовым и Державиным и в бесконечно большей степени, нежели они, Пушкин продолжает Петра и Екатерину» (Бицилли, 1996: 450).

<sup>1</sup> Ленин писал: «Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах» (Ленин, 1969: 221).

Каково же кредо Пушкина? Если кредо толстовского народничества строилось на антихристианском **тотальном осуждении** всего «не своего», то кредо Пушкина — в стихотворении, написанном в то же время, что и цитируемый всеми «Памятник». Это «Отцы-пустынники и жены непорочны...» (1836), переложение великопостной молитвы преподобного Ефрема Сирина:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,  
Любоначалия, змеи сокрытой сей,  
И празднословия не дай душе моей.  
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,  
**Да брат мой от меня не примет осужденья,**  
И дух смирения, терпения, любви  
И целомудрия мне в сердце оживи.

В сущности, это кредо любого цивилизованного, свободного и разумного человека. В России первым его сумел выразить именно Пушкин.

С победой большевиков культурный уровень страны резко понизился, носители разума и света уничтожались. Большевики старались вытеснить страну с поприща ума. Но оставались люди, которые не боялись идти на Голгофу. Их было мало. Но они были. Поэтому и мы сегодня можем ставить пушкинскую проблему о невозможности отступления с этого поприща.

### Литература

- Бердяев Н. А.** (1993) Духи русской революции // Бердяев Н. А. О русских классиках. М.: Высшая школа. С. 75–107.
- Бицилли П. М.** (1996) Поэзия Пушкина // Бицилли П. М. Избранные труды по филологии. М.: Наследие. С. 383–455.
- Булгаков С. Н.** (1993) На пиру богов // Булгаков С. Н. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Наука. С. 564–626.
- Булгаков С. Н.** (1996) Две встречи (Из записной книжки) // Булгаков С. Н. Тихие думы. М.: Республика. С. 389–396.
- Вяземский П. А.** (1963) Записные книжки (1813–1848). М.: Изд-во АН СССР. 507 с.
- Горький М.** (1952) В. И. Ленин // Горький М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 17. Рассказы, очерки, воспоминания. 1924–1936. М.: ГИХЛ. С. 5–46.
- Жуковский В. А.** (1983) Эстетика и критика. М.: Искусство. 431 с.
- Ленин В. И.** (1969) Л. Н. Толстой // В. И. Ленин о литературе и искусстве. М.: Художественная литература. С. 219–222.
- Мережковский Д. С.** (2007) Пушкин // Мережковский Д. С. Вечные спутники. СПб.: Наука. С. 229–297.

- Ортега-и-Гассет Х.** (1991) В поисках Гете // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство. С. 433–462.
- Пушкин А. С.** (1960) Путешествие в Арзрум // Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. Т. 5. М.: ГИХЛ. С. 412–462.
- Пушкин А. С.** (1962в) «Только революционная голова...» // Там же. Т. 7. М.: ГИХЛ. С. 346.
- Пушкин А. С.** (1962а) История Петра I // Там же. Т. 8. М.: ГИХЛ, 1962. С. 7–362.
- Пушкин А. С.** (1962б) Письмо А. И. Тургеневу. 1823. 1 декабря // Там же. Т. 9. М.: ГИХЛ. С. 82–84.
- Страхов Н. Н.** (2010) Роковой вопрос // Страхов Н. Н. Борьба с Западом. М.: Институт русской цивилизации. С. 37–50.
- Толстой Л. Н.** (1983) Что такое искусство? // Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 22 т. Т. 15. М.: Художественная литература. С. 41–221.
- Флоровский Г. В.** (2009) Пути русского богословия / Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации. 848 с.
- Чернышевский Н. Г.** (1950) Не начало ли перемены? // Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15 т. Т. 7. Moscow: ГИХЛ. С. 855–890.
- Чехов А. П.** (1977) Письмо Суворину А. С. 1894. 27 марта // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 12 т. Т. 5. Письма, март 1892–1894 / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука. С. 283–284.



**“WE CANNOT RETREAT IN THE FIELD OF THE MIND.”  
PUSHKIN’S CREDO**

*Vladimir Kantor*

DSc in Philosophy, Tenured Professor, School of Philosophy, Faculty of Humanities, Laboratory Head: International Laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue, Editor-in-Chief “Journal Philosophical letters. Russian- European dialogue”, National Research University Higher School of Economics.  
21/4 Staraya Basmannaya, Office 215, Moscow, 105066, Russian Federation.  
E-mail: vlkantor@mail.ru

The author examines one of the most serious problems in the development of Russian intellectual culture. Russia stepped into high culture, lagging behind the West for several centuries. The task set by Pushkin for Russian culture is to become on a par with the century in education. It was he who first introduced Kant into the consciousness of Russian readers.

According to Pushkin’s logic, Russia is already equal to Europe. It is necessary to judge by the tops of spirit. Napoleon, calling the Kremlin temples barbaric Buddhist, in fact expressed the customary attitude of the Frenchman towards Russia. Moreover, the West has often called and still calls Russian culture impersonal. Alas, the authors who insist on the “originality” of Russia, reinforced such ideas. Opposing the Russian peculiarity of European spirituality, Tolstoy thought that by doing so he himself was overcoming the West. Tolstoy chooses the path of rejection. In the treatise “What is Art?” to “rational, invented” he attributed “Greek tragedians, Dante, Tass, Milton, Shakespeare, Goethe (almost everything in a row); of the new ones — Zola, Ibsen, music of the last Beethoven period”. Tolstoy humiliated European geniuses; but also casually and backhand slandered Pushkin: a monument, de, was erected to him as if he had started an attempt to murder another person and wrote indecent poetry. As if there was no “Poltava”, “The Bronze Horseman”, “The Captain’s Daughter”, “The History of the Pugachev Revolt”, “Eugene Onegin”. But contrary to him — passionate, a passionate, personal, Cartesian phrase of Pushkin: “I want to live in order to think and suffer”.

The author concludes that retreat in the field of mind is fraught with the death of the state. It was Pushkin, as the post-revolutionary Russian thinkers-exiles noted, following Lomonosov and Derzhavin and to an infinitely greater degree than they, continued the work of the Europeanization of Russia, the work of Peter the Great and Catherine.

**Keywords:** Russia, Europe, A. S. Pushkin, L. N. Tolstoy, education, freedom, state.

## References

- Berdjaev N. A. (1993) *Duhi russoj revoljucii* [Spirits of the Russian Revolution]. *O russkih klassikah*, Moscow: Vysshaja shkola, pp. 75–107 (in Russian).
- Bicilli P. M. (1996) *Pojezija Pushkina* [Poetry of Pushkin]. *Izbrannye trudy po filologii*, Moscow: Nasledie, pp. 383–455 (in Russian).
- Bulgakov S. N. (1993) *Na piru bogov* [At the Feast of the Gods]. *Sochinenija*, 2 Vols, vol. 2, Moscow: Nauka, pp. 564–626 (in Russian).
- Bulgakov S. N. (1996) *Dve vstrechi (Iz zapisnoj knizhki)* [Two Meetings (From a Notebook)]. *Tihie dumy*, Moscow: Respublika, pp. 389–396 (in Russian).
- Chernyshevskij N. G. (1950) *Ne nachalo li peremeny?* [Is it the Beginning of a Change?]. *Polnoe sobranie sochinenij*, 15 Vols, vol. 7, Moscow: GIKhL, pp. 855–890 (in Russian).
- Chehov A. P. (1977) *Pis'mo Suvorinu A. S. 1894. 27 marta* [Letter to A. S. Suvorin 1894. March 27]. *Polnoe sobranie sochinenij i pisem*, 30 Vols, Letters, 12 vols, vol. 5, Moscow: Nauka, pp. 283–284 (in Russian).
- Florovskij G. V. (2009) *Puti russkogo bogoslovija* [The Paths of Russian Theology] (ed. O. A. Platonov), Moscow: Institut russoj civilizacii (in Russian).
- Gor'kij M. (1952) *V. I. Lenin* [V. I. Lenin]. *Sobranie sochinenij*, 30 Vols, vol. 17, Moscow: GIKhL, pp. 5–46 (in Russian).
- Lenin V. I. (1969) *L. N. Tolstoj* [L. N. Tolstoy]. *V. I. Lenin o literature i iskusstve*, Moscow: Hudozhestvennaja literatura, pp. 219–222 (in Russian).
- Merezhkovskij D. S. (2007) *Pushkin* [Pushkin]. *Vechnye sputniki*, St. Petersburg: Nauka, pp. 229–297 (in Russian).
- Ortega-i-Gasset H. (1991) *V poiskah Gete* [Finding Goethe]. *Jestetika. Filosofija kul'tury*, Moscow: Iskusstvo, pp. 433–462 (in Russian).
- Pushkin A. S. (1960) *Puteshestvie v Arzum* [Travel to Arzum]. *Sobranie sochinenij*, 10 Vols, vol. 5, Moscow: GIKhL, pp. 412–462 (in Russian).
- Pushkin A. S. (1962a) *Istorija Petra I* [History of Peter I]. *Ibid.*, vol. 8, Moscow: GIKhL, 1962, pp. 7–362 (in Russian).
- Pushkin A. S. (1962b) *Pis'mo Turgenevu A. I. 1823. 1 dekabrja* [Letter to A.I. Turgenev. 1823. 1 December]. *Ibid.*, vol. 9, Moscow: GIKhL, pp. 82–84 (in Russian).
- Pushkin A. S. (1962b) «*Tol'ko revoljucionnaja golova...*» [“Only a Revolutionary Head...”]. *Ibid.*, 10 Vols, vol. 7, Moscow: GIKhL, pp. 346 (in Russian).
- Strahov N. N. (2010) *Rokovoj vopros* [Fatal Question]. *Bor'ba s Zapadom* [Fighting the West], Moscow: Institut russoj civilizacii, pp. 37–50 (in Russian).
- Tolstoj L. N. (1983) *Chto takoe iskusstvo?* [What is Art?]. *Sobranie sochinenij*, 22 Vols, vol. 15, Moscow: Hudozhestvennaja literatura, pp. 41–221 (in Russian).
- Vjazemskij P. A. (1963) *Zapisnye knizhki (1813–1848)* [Notebooks (1813–1848)], Moscow: Izdatel'stvo AN SSSR (in Russian).
- Zhukovskij V. A. (1983) *Jestetika i kritika* [Aesthetics and Criticism], Moscow: Iskusstvo (in Russian).